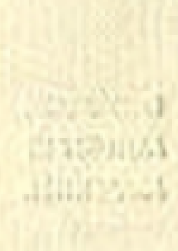
И. С. Тургенев



И. С. Тургенев

ПЕТУШКОВ

I

В 182… году в городе О… проживал поручик Иван Афанасьевич Петушков. Он происходил от бедных родителей, пяти лет остался круглым сиротой и попал на руки к опекуну. Имущества у него, по милости опекуна, не оказалось никакого; он перебивался пополам с грехом. Роста был он среднего, несколько сутуловат; лицо имел худое и покрытое веснушками, впрочем довольно приятное; волосы темно-русые, глаза серые, взгляд робкий; частые морщины покрывали его низкий лоб. Вся жизнь Петушкова прошла чрезвычайно однообразно; под сорок лет он был еще молод и неопытен, как ребенок. Знакомых он дичился, а с теми, на участь которых мог иметь влияние, обходился весьма кротко…

За людьми, осужденными судьбою на жизнь однообразную и невеселую, часто водятся разные привычки и потребности. Петушков по утрам, за чаем, любил кушать свежую белую булку. Без этого лакомства он жить не мог. Вот, в одно утро, слуга его, Онисим, подал ему на тарелке с синими цветочками вместо булки три темно-рыжих сухаря. Петушков тотчас же, с некоторым негодованьем, спросил слугу своего, что бы это такое значило?

— Булки все поразобравшись, — ответил ему Онисим, природный петербуржец, странной игрою случая занесенный в самую глушь южной России.

— Быть не может! — воскликнул Иван Афанасьевич.

— Поразобравшись, — повторил Онисим.,- сегодня у предводителя завтрак, так оно все туда, знаете, пошло.

Онисим провел рукой по воздуху и выставил правую ногу вперед.

Иван Афанасьевич прошелся по комнате, оделся и сам отправился в булочную. Это единственное в городе О… заведение было учреждено лет десять тому назад заезжим немцем, в скором времени процвело и теперь еще процветало под начальством его вдовы, толстой бабы.

Петушков постучался у окошка. Толстая баба выставила в форточку свое болезненно пухлое и заспанное лицо.

— Булку пожалуйте, — с приятностью сказал Петушков.

— Вышли булки, — пропищала толстая баба.

— У вас нет булок?

— Нетути.

— Как же это? помилуйте. Я у вас каждый день беру булки и плачу аккуратно.

Баба молча посмотрела на него.

— Возьмите крендель, — сказала она наконец, зевая, — или паплюху.

— Не хочу, — сказал Петушков и даже обиделся.

— Как угодно, — пробормотала баба и захлопнула форточку.

Ивана Афанасьевича разобрала сильная досада. В недоуменье отошел он на другую сторону улицы и предался весь, как дитя, своему неудовольствию.

— Господин!.. — раздался довольно приятный женский голос, — господин!

Иван Афанасьич поднял глаза. Из форточки булочной выглядывала девушка лет семнадцати и держала в руке булку. Лицо она имела полное, круглое, щеки румяные, глаза карие, небольшие, нос несколько вздернутый, русые волосы и великолепные плечи. Ее черты выражали доброту, лень и беспечность.

— Вот вам, сударь, булка, — сказала она, посмеиваясь, — я было взяла ее себе, да уж извольте, уступлю вам.

— Покорнейше благодарю. Позвольте-с… Петушков начал шарить у себя в кармане.

— Не надо, не надо-с. Кушайте себе на здоровье. Она затворила форточку.

Петушков пришел домой в совершенно приятном расположении духа.

— Вот, ты не достал булки, — сказал он своему Ониси-му, — а я вот достал, видишь?..

Онисим горько усмехнулся…

В тот же день, вечером, Иван Афанасьевич, раздеваясь, спросил слугу своего:

— Скажи мне, братец, пожалуйста, что там у булочницы за девка, а?

Онисим посмотрел в сторону довольно мрачно и возразил:

— А на что вам?

— Так, — сказал Петушков, собственноручно снимая сапоги.

— А ведь хороша! — снисходительно заметил Онисим.

— Да… недурна… — промолвил Иван Афанасьич, глядя тоже в сторону. — А как ее зовут, знаешь?

— Василисой.

— И ты ее знаешь?

Онисим помолчал несколько.

— Знаем-с.

Петушков разинул было рот, но повернулся на другой бок и заснул. Онисим вышел в переднюю, понюхал табаку и покрутил головой.

На другой день, рано поутру, Петушков велел подать себе одеться. Онисим принес ежедневный сюртук Ивана Афанасьича, сюртук старый, травяного цвета, с огромными полинявшими эполетами. Петушков долго, молча, поглядел на Онисима, потом приказал ему достать новый сюртук. Онисим не без удивленья повиновался. Петушков оделся, тщательно натянул на руки замшевые перчатки.

— Ты, братец, — проговорил он с некоторым замешательством, — не ходи сегодня в булочную. Я сам зайду… мне по дороге.

— Слушаю-с, — ответил Онисим так отрывисто, как будто кто-то толкнул его сзади.

Петушков отправился, дошел до булочной, постучался в окошко. Толстая баба отворила форточку.

— Пожалуйте булку, — медленно проговорил Иван Афанасьич.

Толстая баба выставила руку, обнаженную до самого плеча, более похожую на ляжку, чем на руку, и сунула ему горячий хлеб прямо под нос.

Иван Афанасьич постоял некоторое время под окошком, прошел по улице раза два, заглянул на двор и, наконец, устыдясь своего ребячества, вернулся домой с булкой в руке. Целый день ему было неловко, и даже вечером он, против обыкновения, не пустился в разговор с Онисимом.

На другое утро уже Онисим отправился за булкой.

II

Прошло несколько недель. Иван Афанасьич совершенно позабыл о Василисе и по-прежнему дружелюбно беседовал с своим слугою. В одно прекрасное утро зашел к нему господин Бублицын, развязный и очень любезный молодой человек. Правда, он иногда сам не знал, что такое говорил, и весь был, как говорится, набекрень, но все-таки слыл за весьма приятного собеседника. Он курил много, с лихорадочной жадностью, поднимая брови, втягивая грудь, курил с озабоченным видом, или, лучше сказать, с таким видом, что вот дайте ему только в последний раз затянуться, он вам тотчас и скажет неожиданную новость; даже иногда мычал и махал рукой, торопливо досасывая чубук, как будто внезапно вспомнил что-то необыкновенно забавное или важное, раскрывал рот, кольцеобразно выпускал дым и произносил слова самые обыкновенные, а иногда даже вовсе безмолвствовал. Поболтавши немного с Иваном Афанасьичем о соседях, лошадях, помещичьих дочках и прочих поучительных предметах, г-н Бублицын вдруг заморгал глазами, взбил себе хохол и с лукавой улыбкой подошел к необыкновенно тусклому зеркалу, единственному украшению комнаты Ивана Афанасьича.

— А ведь надо правду сказать, — промолвил он, поглаживая свои бурые бакенбарды, — у нас здесь есть мещаночки такие, что куда твоя Венера мендинцейнская… Например, видали вы Василису булочницу?.. — Г-н Бублицын затянулся.

Петушков вздрогнул.

— Впрочем, — продолжал Бублицыи, исчезая в облаке дыма, — что я у вас спрашиваю! ведь вы такой человек, Иван Афанасьич! бог знает, чем вы занимаетесь, Иван Афанасьич!

— Тем же, чем и вы, — не без досады и нараспев проговорил Петушков.

— Ну, нет, Иван Афанасьич, нет… Что вы это?

— Однако?

— Ну, да уж что, Иван Афанасьич!

— Однако? однако?

Бублицын поставил трубку в угол и начал рассматривать свои не совсем красивые сапоги. Петушков почувствовал смущение.

— Так-то, Иван Афанасьич, так-то — продолжал Бублицын, как бы щадя его. — А про Василису булочницу вам доложу: очень, о-чень хороша… о-чень.

Господин Бублицын расширил ноздри и медленно погрузил руки в карманы.

Странное дело! Иван Афанасьич почувствовал нечто вроде ревности. Он начал двигаться на стуле, некстати расхохотался, покраснел вдруг, зевнул и, зевая, скривил немного нижнюю челюсть. Бублицын выкурил еще три трубки и удалился. Иван Афанасьич подошел к окну, вздохнул и велел подать себе напиться.

Онисим поставил стакан квасу на стол, угрюмо взглянул на барина, прислонился к двери и потупил голову.

— Что ты так задумался? — спросил его барин ласково и не без страха.

— Что задумался? — возразил Онисим, — что задумался… Все об вас.

— Обо мне!

— Разумеется, о вас.

— А что ж ты такое думаешь?

— А я вот что думаю. (Тут Онисим понюхал табаку.) Стыдно вам, сударь, стыдно.

— Что такое стыдно?

— Что такое стыдно… Да вы посмотрите на господина Бублицына, Иван Афанасьич… Чем не молодец? помилуйте.

— Я тебя, братец, не понимаю.

— Не понимаете… Нет, вы меня понимаете. Онисим помолчал.

— Господин Бублицын — господин настоящий, как следует быть господин. А вы-то что, Иван Афанасьич, вы-то что? помилуйте.

— Ну, и я господин.

— Господин, господин… — возразил Онисим, приходя в азарт. — Какой вы господин? Вы, сударь, просто мокрая ку-рица, Иван Афанасьич, помилуйте. Сидите себе сиднем целый божий день… много этак высидите. В карты вы не играете, с господами не водитесь, а что уж насчет того…

Онисим махнул рукой.

— Ну, однако ж… ты уж, кажется, слишком… — проговорил Иван Афанасьич, с замешательством хватаясь за чубук.

— Какое слишком, Иван Афанасьич, какое слишком! Вы сами посудите. Ведь вот опять насчет Василисы… Ну, почему бы вам…

— Да ты что думаешь, Онисим? — тоскливо перебил его

Петушков.

— Я знаю, что я думаю. Что ж? и с богом! Да где вам? Иван Афанасьич, помилуйте, судите сами… Ведь вы… Иван Афанасьич встал.

— Ну, ну, пожалуйста, там уж ты молчи, — сказал он проворно и как бы ища глазами Онисима. — Я ведь тоже, знаешь… я… что уж ты, в самом деле? Дай-ка Мне лучше одеться.

Онисим медленно стащил с Ивана Афанасьича замасленный татарский шлафрок, с отеческой грустью поглядел на барина, покачал головой, напялил на него сюртук и принялся бить его по спине веником.

Петушков вышел и, после непродолжительного странствования по кривым улицам города, очутился перед булочной. Странная улыбочка играла на его губах.

Не успел он взглянуть раза два на слишком известное «заведение», как вдруг калитка отворилась и выбежала Василиса, с желтым платочком на голове и в душегрейке, накинутой, по русскому обычаю, на плечи. Иван Афанасьич тотчас же нагнал ее.

— Куда изволите идти, голубушка? Василиса быстро взглянула на него, засмеялась, отвернулась и закрыла себе Губы рукой.

— Чай, за покупочкой? — спросил Иван Афанасьич, семеня ножками.

— Какие любопытные, — возразила Василиса.

— Отчего же любопытный? — сказал Петушков, торопливо размахивая руками. — Я совсем напротив… Так, знаете ли, — прибавил он поспешно, как будто эти три слова совершенно объяснили его мысль.

— А булочку мою скушали?

— Непременно-с, — возразил Петушков, — с особенным удовольствием.

Василиса продолжала идти да посмеиваться.

— Приятная сегодня погода, — продолжал Иван Афанасьич, — изволите часто гулять?

— Гуляем-с.

— Ах, как бы мне было желательно…

— Чего-с?

Девушки у нас выговаривают слово «чего-с» очень странно, как-то особенно резко и быстро… Куропатки так кричат по зарям.

— Погулять-с, знаете ли, с вами… за городом, что ли…

— Как можно!

— Отчего же не можно?

— Ах, какой вы, право!

— Но, позвольте…

Тут поравнялся с ними купчик-попрыгунчик с козлиной бородкой и пальцами, растопыренными в виде рогульки, чтобы рукава не сползали, в долгополом синеватом кафтане и теплом картузе, похожем на распухший арбуз. Петушков, ради приличия, отстал немного от Василисы, но тотчас же нагнал ее снова.

— Так как же? насчет прогулки-с?

Василиса лукаво посмотрела на него и опять засмеялась.

— Вы здешний?

— Здешний-с.

Василиса провела рукой по волосам и пошла потише. Иван Афанасьич улыбнулся и, внутренне замирая от робости, нагнулся немного набок и трепетной рукой обвил стан красавицы.

Василиса вскрикнула:

— Полноте, бесстыдники, на улицы.

— Ну, ну, ну, чего, — забормотал Иван Афанасьич.

— Полноте, говорят вам, на улицы… Не обиждайте.

— А… а… ах, какие же вы, — проговорил Петушков с укоризной, а сам покраснел до ушей. Василиса остановилась.

— Ступайте себе, господин, ступайте… Петушков повиновался. Он пришел домой, целый час сидел неподвижно на стуле и даже трубки не курил. Наконец он достал листок сероватой бумаги, очинил перо и после долгих соображении написал следующее письмо:

«Милостивая государыня

Василиса Тимофеевна!

Будучи от природы человек необидчивый, как же бы мог я вам причинить неприятность. Если же я и действительно перед вами виноват, то именно скажу вам: намеки г-на Бублицына меня к тому способствовали, чего я никак не ожидал. А впрочем, покорнейше прошу вас на меня не гневаться, Я человек чувствительный и всякую ласку весьма чувствую и благодарен. Не гневайтесь на меня, Василиса Тимофеевна, прошу вас покорнейше. Впрочем, с моим почтением пребываю

Ваш покорнейший слуга

Иван Петушков».

Онисим отнес это письмо по адресу.

III

Прошло две недели… Онисим каждое утро, по обыкновению, ходил в булочную. Вот однажды Василиса выбежала к нему навстречу.

— Здравствуйте, Онисим Сергеич.

Онисим принял мрачный вид и сердито проговорил:

— Здорово.

— Что ж это вы никогда к нам не зайдете, Онисим Сергеич?

Онисим угрюмо взглянул на нее.

— Что я зайду? чаем небось не напоишь.

— Напою, Онисим Сергеич, напою. Только вы приходите. И с ромом.

Онисим медленно улыбнулся.

— Что ж, пожалуй, коли так.

— Когда же, батюшка, когда?

— Когда… Эх, ты…

— Сегодня, вечерком, угодно? заверните.

— Пожалуй, заверну, — возразил Онисим и поплелся домой ленивым и развалистым шагом.

В тот же день, вечером, в маленькой комнатке, подле постели, покрытой полосатым пуховиком, за неуклюжим столиком сидел Онисим напротив Василисы. Тускло-желтый огромный самовар шипел и сипел на столе; горшок ерани торчал перед окошком; в другом углу, подле двери, боком стоял безобразный сундук с крошечным висячим замком; на сундуке лежала рыхлая груда разного старого тряпья; на стенах чернели замасленные картинки, Онисим и Василиса кушали чай молча, глядя в лицо друг другу, долго вертели в руках кусочки сахару, как бы нехотя прикусывали, жмурились, щурились и с свистом втягивали сквозь зубы желтоватую горячую водицу. Наконец они опорожнили весь самовар, опрокинули кверху дном круглые чашечки с надписями-на одной: «за удоблетворение», а на другой: «невинно пронзила», крякнули, отерли пот и начали помаленьку раз-. говаривать.

— Что, Онисим Сергеич, ваш барин… — спросила Василиса и не договорила.

— Что барин… — возразил Онисим и подперся рукой. —

Известно, что. А вам на что?

— Так-с, — отвечала Василиса.

— А ведь он (тут Онисим осклабился), ведь он вам, кажись, письмо писал?

— Писали-с.

Онисим покачал головой с необыкновенно самодовольным видом.

— Вишь, вишь, — проговорил он хрипло и не без улыбки, — ну, а что такое он писал вам?

— А разное написал. Что, дескать, я, сударыня Василиса Тимофеевна, так; что вы не думайте; что вы, сударыня, не обиждайтесь; и много такого написал… А что, — прибавила она, помолчав немного, — он у вас каков?

— Живет, — равнодушно отвечал Онисим.

— Серчает?

— Куда ему! Нет, не серчает. А что, он вам ндравится? Василиса потупилась и засмеялась в рукав.

— Ну, — проворчал Онисим.

— Да на что вам, Онисим Сергеич?

— Да ну же, говорят.

— Что ж, — проговорила наконец Василиса, — они… барин. Разумеется… я… да и они уж… вы сами знаете…

— Как не знать? — важно заметил Онисим.

— Вам ведь наконец известно, Онисим Сергеич… Василиса видимо приходила в волнение.

— Вы скажите ему-то, вашему-то барину, что я, дескать, на него не сержусь, а что вот, мол… Она заикнулась.

— Понимаем-с, — возразил Онисим и медленно поднялся со стула. Поннмаем-с. Спасибо за угощенье.

— Вперед милости просим.

— Ну, хорошо, хорошо.

Онисим приблизился к двери. Толстая баба вошла в комнату.

— Здравствуйте, Оиисим Сергеич, — сказала она нараспев.

— Здравствуйте, Прасковья Ивановна, — отвечал он также нараспев.

Оба постояли немного друг перед другом.

— Ну, прощайте, Прасковья Ивановна, — проговорил Онисим нараспев.

— Ну, прощайте, Онисим Сергеич, — отвечала она также нараспев.

Онисим пришел домой. Барин его лежал на постели и глядел в потолок.

— Где ты был?

— Где был?.. (За Онисимом водилась привычка с укоризной повторять последние слова всякого вопроса.) По вашему же делу ходил.

— По какому делу?

— А вы не знаете?.. К Василисе ходил.

Петушков замигал глазами и завертелся на постели.

— То-то воть и есть, — заметил Онисим и хладнокровно понюхал табаку, то-то вот и есть. Вы всегда так. Василиса вам кланяется.

— Неужто?

— Неужто? То-то же вот и есть. Неужто!.. Велела сказать, что, дескать, отчего его не видать? отчего, дескать, не ходит?

— Ну, а ты что?

— Что я? Я ей сказал: глупа же ты, — я ей сказал, — станут к тебе такие люди ходить! Нет, ты приди сама, — я ей сказал.

— Ну, а она что?

— Она что?.. Она… ничего.

— То есть, однако, как же ничего?

— Известно, ничего. Петушков помолчал немного.

— Ну, и придет? Онисим покачал головой.

— Придет!.. Больно, сударь, прытки. Придет!.. Нет, это уж вы того.

— Да ведь ты сам говорил, что того…

— Мало ли чего! Петушков замолчал опять.

— Так как же, однако ж, братец?

— Как же?.. Вам лучше знать: вы барин.

— Ну нет, что уж тут…

Онисим самодовольно покачался взад и вперед.

— Вы Прасковью Ивановну знаете? — спросил 6н наконец.

— Нет. Какую Прасковью Ивановну?

— А булочницу?

— А, да, булочницу. Видал; толстая такая.

— Важная женщина. Она той-то, вашей-то, родная тетка.

— Тетка?

— А вы не знали?

— Нет, не знал.

— Эх…

Онисим из уважения к барину не досказал своей мысли.:

— Вот бы вам с кем познакомиться.

— Что ж, я, пожалуй, не прочь.

Онисим одобрительно поглядел на Ивана Афанасьича.

— Но для чего, собственно, мне с ней знакомиться? — спросил Петушков.

— Эвона! — спокойно возразил Онисим. Иван Афанасьич встал, походил по комнате, остановился перед окном и, не оборачивая головы, с некоторым замешательством произнес:

— Онисим!

— Чего-с?

— А не будет ли мне несколько, знаешь, неловко этак с бабой, а?

— Что ж, как знаете…

— Впрочем, я это только так. Товарищи могут заметить; все оно как-то… Впрочем, я подумаю. Дай-ка мне трубку… Так что ж она, — прибавил он после небольшого молчания, — Василиса-то, говорит, что, дескать…

Но Онисим не желал продолжать разговор и принял обычный угрюмый вид.

IV

Знакомство Ивана Афанасьича с Прасковьей Ивановной началось следующим образом. Дней через пять после разговора с Онисимом Петушков отправился вечером в булочную. «Ну, — думал он, отпирая скрипучую калитку, — не знаю, что-то будет…»

Он взошел на крыльцо, отворил дверь. Пребольшая хохлатая курица с оглушительным криком бросилась ему прямо под ноги и долго потом в волнении бегала по двору. Из соседней комнаты выглянуло изумленное лицо толстой бабы. Иван Афанасьич улыбнулся и закивал головой. Баба ему поклонилась. Крепко стиснув шляпу, Петушков подошел к ней. Прасковья Ивановна, по-видимому, ожидала почетного посещенья: платье ее было застегнуто на все крючки. Петушков сел на стул; Прасковья Ивановна села против него.

— Я к вам, Прасковья Ивановна, более насчет… — проговорил наконец Иван Афанасьич — и замолк. Судороги подергивали его губы.

— Милости просим, батюшка, — отвечала Прасковья Ивановна нараспев и с поклоном. — Всякому гостю рады. Петушков немного приободрился.

— Я давно, знаете, желал иметь удовольствие с вами познакомиться, Прасковья Ивановна.

— Много благодарны, Иван Афанасьич.

Настало молчанье. Прасковья Ивановна утирала себе лицо пестрым платком; Иван Афанасьич с большим вниманием глядел куда-то вбок. Обоим было довольно неловко. Впрочем, в купеческом и мещанском быту, где даже старинные приятели не сходятся без особенных угловатых ужимок, некоторая напряженность в обращении гостей и хозяина не только не кажется никому странной, но, напротив, почитается совершенно приличной и необходимой, в особенности при первом свиданье. Прасковье Ивановне понравился Петушков. Он держал себя чинно и добропорядочно и притом все же был человек не бесчиновный.!

— Я, матушка Прасковья Ивановна, очень люблю ваши булки, — сказал он ей.

— Тэк-с, тэк-с.

— Очень хороши, знаете, очень даже.

— Кушайте, батюшка, на здоровье, кушайте. С нашим удовольствием.

— Я и в Москве не едал таких.

— Тэк-с, тэк-с.

Опять настало молчанье.

— А скажите, Прасковья Ивановна, — начал Иван Афанасьнч, — это у вас ведь, кажется, племянница живет?

— Родная племянница, батюшка.

— Что ж она, как… у вас?..

— Сирота, так и держим-с.

— И что ж она, работница?

— Ра-аботница, батюшка, ра-аботница. Такая работница, что и… и… и!.. Как же-с, как же-с.

Иван Афанасьич почел за приличное не распространяться более насчет племянницы.

— Это у вас в клетке какая птица, Прасковья Ивановна?

— А бог ее знает. Птица.

— Гм! Ну, а впрочем, прощайте, Прасковья Ивановна.

— Просим прощения вашему благородию. В другой раз милости просим. Чайку откушать.

— С особенным удовольствием, Прасковья Ивановна. Петушков вышел. На крыльце ему попалась Василиса. Она засмеялась.

— Куда вы это ходить изволили, голубчик мой? — сказал Петушков не без удальства.

— Ну, полноте, полноте, балагур, шутник вы этакой.

— Хе, хе. А письмецо мое изволили получить? Василиса спрятала нижнюю часть лица в рукав и ничего не отвечала.

— И на меня уже не гневаетесь?

— Василиса! — задребезжал голос тетки, — а, Василиса!

Василиса вбежала в дом. Петушков отправился восвояси. Но с того дня он часто стал ходить к булочнице, и недаром. Иван Афанасьич, говоря слогом возвышенным, достиг своей цели. Обыкновенно достижение цели охлаждает людей, но Петушков, напротив, с каждым днем более и более разгорался. Любовь-дело случайное, существует сама по себе, как искусство, и не нуждается в оправданьях, как природа, сказал какой-то умный человек, который сам никогда не любил, но отлично рассуждал о любви. Петушков страстно привязался к Василисе. Он был счастлив вполне. Его душа согрелась. Понемногу перетащил он весь свой скарб, по крайней мере все чубуки свои, к Прасковье Ивановне и по целым дням сидел у ней в задней комнате.

Прасковья Ивановна брала с него за обед деньги и пила его чай, следовательно не жаловалась на его присутствие. Василиса привыкла к нему, работала, пела, пряла при нем, иногда молвила с ним слова два; Петушков поглядывал на нее, покуривал трубочку, покачивался на стуле, посмеивался и в свободные часы играл с нею и с Прасковьей Ивановной в дурачки. Иван Афанасьич был счастлив… Но на земле нет ничего совершенного, и как ни малы требованья человека, судьба никогда вполне не удовлетворит его, даже испортит дело, если можно… Ложка дегтю попадет-таки в бочку меду! Иван Афанасьич испытал это на себе. Во-первых, со времени своего переселения к Василисе Петушков еще более раззнакомился с своими товарищами. Он видал их только в необходимых случаях и тут, для избежания намеков и насмешек (что, впрочем, не всегда ему. удавалось), принимал отчаянно суровый и сосредоточенно-запуганный вид зайца, который барабанит посреди фейерверка. Во-вторых, Онисим не давал ему покою, потерял всякое к нему уважение, ожесточенно преследовал, стыдил его. В-третьих, наконец… Увы! Читайте далее, благосклонный читатель.

V

Однажды Петушков (которому, по вышеозначенным причинам, вне дома Прасковьи Ивановны приходилось плохо) сидел в задней, Василисиной, комнате и хлопотал над каким-то доморощенным снадобьем, не то вареньем, не то настойкой. Хозяйки не было дома. Василиса сидела в булочной и попевала песенку.

Постучались в форточку. Василиса встала, подошла к окошку, слегка вскрикнула, засмеялась и начала с кем-то перешептываться. Вернувшись на место, она вздохнула и принялась петь громче прежнего…

— С кем ты это разговаривала? — .спросил ее Петушков.

Василиса продолжала «ломать калину».

— Василиса, слышишь? а, Василиса?

— Что вам?

— С кем ты разговаривала?

— А вам на что?

— Да так.

Петушков вышел из задней комнаты в пестром архалуке, с засученными рукавами и с ливером в руках.

— Ас хорошим приятелем, — отвечала Василиса.

— С каким хорошим приятелем?

— Ас Петром Петровичем.

— С Петром Петровичем?.. С каким Петром Петровичем?

— А он тоже ваш брат. Прозвище такое мудреное.

— Бублицын?

— Ну да, да, Петр Петрович.

— И ты его знаешь?

— Еще бы! — возразила Василиса, качнув головой. Петушков молча прошелся раз десять по комнате.

— Послушай, Василиса, — сказал он наконец, — то есть ты как его знаешь?

— Как знаю?.. Знаю… Он барин такой хороший.

— Как, однако ж, хороший? как хороший? как хороший? Василиса посмотрела на Ивана Афанасьевича.

— Хороший, — проговорила она медленно и с недоумением. —

Известно какой.

Петушков закусил губы и начал опять ходить по комнате.

— О чем же ты с ним разговаривала? а? Василиса улыбнулась и потупилась.

— Говори же, говори, говори, говорят тебе, говори!

— Какой вы сегодня сердитый, — заметила Василиса. Петушков молчал.

— Ну, нет, Василиса, — начал он наконец, — нет, я сердиться не буду… Ну, скажи же мне, о чем же вы говорили? Василиса засмеялась.

— Такой, право, шутник этот Петр Петрович!

— А что?

— Уж такой!

Петушков опять помолчал.

— Василиса, ты ведь любишь меня? — спросил он ее.

— Ну, и вы туда же!

У бедного Петушкова защемило на сердце. Вошла Прасковья Ивановна. Сели обедать. После обеда Прасковья Ивановна отправилась на полати. Сам Иван Афанасьич прилег на печи, повертелся и заснул. Осторожный скрип разбудил его. Иван Афанасьич приподнялся, оперся на локоть, смотрит: дверь отворена. Он вскочил — Василисы нет. Он на двор — и на дворе ее нету; на улицу — глядь туда, сюда: Василисы не видать. Без шапки пробежал он до самого рынка: нет, не видать Василисы. Медленно вернулся он в булочную, взлез на печь, повернулся лицом к стене. Тяжело ему стало. Бублицын… Бублицын… это имя так и звучало у него. в ушах.

— Что с тобой, батюшка? — спросила его сонливым голосом Прасковья Ивановна. — Чего охаешь?

— Ничего, матушка, так. Ничего. Давит что-то.

— Грибы, — пролепетала Прасковья Ивановна, — все грибы. О господи, помилуй нас, грешных!

Час прошел, другой-Василисы все нет. Петушков двадцать раз порывался встать и двадцать раз с тоской забивался под тулуп… Наконец, однако ж, он слез с печи и хотел было домой пойти и на двор уже вышел, да вернулся. Прасковья Ивановна встала. Работник Лука, черный, как жук, хотя и булочник, заложил хлебы в печь. Петушков опять вышел на крыльцо и задумался. Проживающий на дворе козел подобрался к нему и слегка, дружелюбно толкнул его рогами. Петушков посмотрел на него и-, бог знает почему, сказал: «Кысь, кысь». Вдруг низенькая калитка тихо распахнулась и появилась Василиса. Иван Афанасьич отправился к ней прямо навстречу, взял ее

за руку и довольно хладнокровно, но решительно, сказал ей:

— Ступай за мной.

— Да позвольте, Иван Афанасьич… я…

— Ступай за мной, — повторил он.

Она повиновалась.

Петушков привел ее к себе на квартиру. Онисим, по обыкновению, спал врастяжку. Иван Афанасьич разбудил его, велел зажечь свечку. Василиса подошла к окошку и молча села. Пока Онисим возился с огнем в передней, Петушков неподвижно стоял у другого окна и глядел на улицу. Вошел Онисим, с свечкой в руках, начал было ворчать… Иван Афанасьич быстро обернулся.

— Ступай вон, — сказал он ему. Онисим остановился посреди комнаты…

— Ступай вон сейчас, — повторил Петушков грозно. Онисим посмотрел на барина и вышел. Иван Афанасьич закричал ему вслед:

— Вон, совсем вон. Из дому. Придешь через два часа. Онисим убрался.

Петушков дождался, пока стукнула калитка, и тотчас же подошел к Василисе.

— Где ты была? Василиса смешалась.

— Где ты была? говорят тебе, — повторил он. Василиса посмотрела кругом…

— Тебе я говорю… Где ты была? И Петушков поднял было руку…

— Не бейте меня, Иван Афанасьич, не бейте… — с испугом пролепетала Василиса. Петушков отвернулся.

— Бить тебя… Нет! я тебя бить не стану. Бить тебя? Извини, извини, голубушка. Бог с тобой. Когда я думал, что ты меня любишь, когда я… когда…

Иван Афанасьич умолк. Он задыхался.

— Слушай, Василиса, — сказал он наконец, — я, ты знаешь, человек добрый; ведь ты знаешь, Василиса, знаешь?

— Знаю, — проговорила она запинаясь.

— Я никому зла не делаю, никому, никому на свете. И никого не обманываю. Зачем же ты меня обманываешь?

— Да я вас не обманываю, Иван Афанасьич.

— Не обманываешь? Ну, хорошо. Ну, хорошо. Ну, говори же, где ты была?

— Я ходила к Матрене.

— Врешь!

— Ей-богу, к Матрене. Вы спросите у ней, коли мне не верите.

— А Буб… ну, как его… черта этого видела?

— Видела.

— Видела? Видела? а! видела? Петушков побледнел.

— Так ты с ним, поутру-то, у окошка сговаривалась… а? а?

— Они меня просили прийти.

— А ты и пошла… Спасибо, матушка, спасибо, родная! — Петушков поклонился Василисе в пояс.

— Да, Иван Афанасьич, вы, может, думаете…

— Уж ты бы лучше не говорила! Да и я, дурак, хорош. Чего раскричался? Да ты, пожалуй, с кем там хочешь знайся. Мне до тебя дела нет. Вот еще! Я тебя и знать-то не хочу.

Василиса встала.

— Воля ваша, Иван Афанасьич.

— Куда ты идешь?

— Да ведь вы сами…

— Я тебя не прогоняю, — перебил ее Петушков.

— Нет уж, Иван Афанасьич… Что ж уж мне у вас оставаться?..

Петушков дал ей. дойти до двери.

— Так ты уходишь, Василиса?

— Вы меня все обижаете…

— Я тебя обижаю! Бога ты не боишься, Василиса! Когда же я тебя обижал? Ну, нет, нет, скажи, когда?

— Да как же? Вот и теперь чуть меня не побили.

— Василиса, грешно тебе. Право, грешно!

— И еще попрекали, что я, дескать, с тобой знаться не хочу. Я, дескать, барин.

Иван Афанасьич начал молча ломать себе руки. Василиса дошла до середины комнаты.

— Что ж? Бог с вами, Иван Афанасьич. Я сама по себе, а вы сами по себе…

— Полно, Василиса, полно, — перебил ее Петушков. — Ты лучше рассуди, посмотри на меня. Ведь я на себя не похож, Ведь я сам не знаю, что говорю… Хотя бы ты меня пожалела.

— Вы меня все обижаете, Иван Афанасьич…

— Эх, Василиса! кто прошлое помянет, тому глаз вон. Не правда ли? Ведь ты на меня не сердишься, не правда ли?.

— Вы меня все обижаете, — повторяла Василиса.

— Не буду, душа, не буду. Прости меня, старого человека. Я вперед уже не буду никогда. Ну, простила меня, что ли?

— Бог с вами, Иван Афанасьич.

— Ну, засмейся, засмейся… Василиса отвернулась.

— Засмеялась, душа, засмеялась! — закричал Петушков и запрыгал на месте, как ребенок…

VI

На другой день Петушков, по обыкновению, отправился в булочную. Все пошло по-прежнему. Но в сердце у него засела заноза. Он уже не так часто посмеивался и иногда задумывался. Настало воскресенье. У Прасковьи Ивановны болела поясница; она не слезала с полатей; через силу сходила к обедне. После обедни Петушков позвал Василису в заднюю комнатку. Она все утро жаловалась на скуку. Судя по выражению лица Ивана Афанасьича, в его голове вертелась мысль необыкновенная и для него самого неожиданная.

— Сядь-ка ты вот здесь, Василиса, — сказал он ей, — а я тут сяду. Мне нужно с тобой поговорить маленько. Василиса села.

— Скажи мне, Василиса, ты писать умеешь?

— Писать?

— Да, писать?

— Нет, не умею.

— А читать?

— И читать не умею.

— А кто ж тебе письмо-то мое прочитал?

— Дьячок. Петушков помолчал.

— А хотела бы ты знать грамоте?

— Да на что нам грамоте знать, Иван Афанасьич?

— Как на что? Книги можно читать.

— А в книгах-то что стоит?

— Все хорошее… Послушай, хочешь, я тебе принесу книжку?

— Да ведь я читать не умею, Иван Афанасьич.

— Я буду тебе читать.

— Да ведь, чаи, скучно?

— Как можно! скучно! Напротив, оно против скуки хорошо.

— Разве сказки читать будете?

— А вот увидишь завтра.

Петушков к вечеру возвратился домой и начал рыться у себя в ящиках. Нашел он несколько разрозненных томов «Библиотеки для чтения», штук пять серых московских романов, арифметику Назарова, детскую географию с глобусом на заглавном листе, вторую часть истории Кайданова, два сонника, месяцеслов за 1819 год, два нумера

«Галатеи», «Наталью Долгорукую» Козлова и первую часть «Рославлева». Долго думал он, что бы выбрать? и наконец решился взять поэму Козлова и «Рославлева».

На другой день Петушков поспешно оделся, сунул обе книжонки под лацкан сюртука, пришел в булочную и, как только улучил свободное время, усадил Василису и начал читать ей роман Загоскина. Василиса сидела неподвижно; сперва улыбалась, потом как будто призадумалась… потом нагнулась немного вперед; глаза ее съежились, рот слегка раскрылся, руки упали на колени: она задремала. Петушков читал скоро, невнятно и глухим голосом, поднял глаза…

— Василиса, ты спишь?

Она встрепенулась, потерла себе лицо и потянулась. Петушкову досадно стало на нее и на себя…

— Скучно, — лениво проговорила Василиса.

— Послушай, хочешь, я тебе стихи почитаю?

— Как?

— Стихи… хорошие стихи.

— Нет, уж будет, право.

Петушков проворно достал поэму Козлова, вскочил, прошелся по комнате, стремительно подбежал к Василисе и принялся читать. Василиса закинула голову назад, растопырила руки, вгляделась в лицо Петушкова-и вдруг залилась звонким и резким хохотом… так и покатилась.

Иван Афанасьич с досадой швырнул книгу на пол. Василиса продолжала хохотать.

— Ну, чему ты смеешься, глупая?1 Василиса заливалась пуще прежнего.

— Смейся, смейся, — ворчал Петушков сквозь зубы. Василиса взялась за бока, заохала.

— Да чему ты, сумасшедшая?

Но Василиса только руками махала. Иван Афанасьич схватил фуражку и выбежал из дому. Быстро, неровными шагами шел он по городу, шел, шел и очутился у заставы. Вдоль улицы вдруг застучали колеса, затопали лошади… Кто-то кликнул его по имени. Он поднял голову и увидал просторную старинную линейку. В линейке, лицом к нему, сидел г. Бублицын между двумя девицами, дочерями господина Тютюрева. Обе девицы были одеты совершенно одинаково, как бы в ознаменование их неразрывной дружбы; обе улыбались задумчиво, но приятно, и томно наклоняли головки набок. На другой стороне линейки виднелась широкая соломенная шляпа почтенного господина

Тютюрева и отчасти представлялся взорам его полный и круглый затылок; рядом с его соломенной шляпой возвышался чепец его супруги. Самое положение обоих родителей служило явным доказательством их искреннего благоволения и доверенности к молодому Бублицыну. И молодой Бублицын, видимо, чувствовал и ценил их лестную доверенность. Конечно, он сидел непринужденно, непринужденно разговаривал и смеялся; но в самой развязности его обращения замечалась нежная, трогательная почтительность. А девицы Тютюревы? Трудно выразить словами все, что внимательный взор наблюдателя открывал в чертах обеих сестриц. Благонравие, и кротость, и скромная веселость, грустное понимание жизни и непоколебимая вера в самих себя, в высокое и прекрасное призвание человека на земле, приличное внимание к юному собеседнику, по дарованиям умственным, может быть, не вполне им равному, но по сердечным свойствам совершенно достойному снисхожденья… вот какие качества и чувства изображались в это время на лицах девиц Тютюревых. Бублицын кликнул Ивана Афанасьича по имени так, без всякой причины, от избытка внутреннего довольства; поклонился ему чрезвычайно дружелюбно и приветливо; сами девицы Тютюревы поглядели на него ласково и кротко, как на человека, с которым они бы не прочь даже познакомиться… Маленькой рысцой пробежали добрые, сытые, смирные лошадки мимо Ивана Афанасьича; плавно покатилась линейка по широкой дороге, разнося добродушный девический смех; в последний раз мелькнула шляпа г-на Тютюрева; пристяжные закинули головы набок, щепотко запрыгали по короткой зеленой травке… кучер засвистал одобрительно и бережно; линейка исчезла за ракитами.

Долго простоял на месте бедный Петушков.

— Сирота я, сирота казанская, — прошептал он наконец… Оборванный мальчишка остановился перед ним, робко посмотрел на него, протянул руку…

— Христа ради, барин хороший.

Петушков достал грош.

— На тебе на твое сиротство, — проговорил он через силу и пошел опять в булочную. На пороге Василисинон комнатки остановился Иван Афанасьич.

«Вот, — подумал он, — вот с кем я знаюсь! Вот оно, мое семейство! вот оно!.. И тут Бублицын и там Бублицын».

Василиса сидела к нему спиной и, беззаботно попевая, разматывала нитки; платье на ней было ситцевое, полинялое; волосы она заплела

кое-как… В комнате, невыносимо жаркой, пахло периной, старыми тряпками; кой-где по стенам проворно мчались рыжие, щеголеватые прусаки; на дряхлом комоде, с дырочками вместо замков, лежал, подле разбитой банки, стоптанный женский башмак… На полу еще валялась поэма Козлова… Петушков покачал головой, скрестил руки и вышел. Он был обижен.

Дома он приказал подать себе одеться. Овисим поплелся за сюртуком. Петушкову весьма хотелось вызвать Онисима на разговор, но Онисим молчал угрюмо. Наконец Иван Афанасьич не вытерпел:

— Что ж ты меня не спрашиваешь, куда я иду?

— А на что мне знать, куда вы идете?

— Как на что? Ну, придет кто-нибудь за нужным делом, спросит: где, мол, дескать, Иван Афанасьич? А ты ему и скажешь: Иван Афанасьич туда-то пошел.

— За нужным делом… Да кто к вам за нужным делом-то ходит?

— Вот ты опять начинаешь грубить? Ведь вот опять? Онисим отвернулся и принялся чистить сюртук.

— Право, Онисим, ты человек пренеприятный. Онисим исподлобья поглядел на барина.

— И всегда ты так. Вот уж именно всегда. Онисим улыбнулся.

— Да на что мне у вас спрашивать, Иван Афанасьич, куда вы идете? Как будто я не знаю? К булочнице!

— А вот и вздор! вот и соврал! Совсем не к ней. Я к булочнице больше ходить не намерен.

Онисим прищурился и тряхнул веником. Петушков ожидал одобренья; но слуга его безмолвствовал.

— Не годится, — продолжал строгим голосом Петушков, — неприлично… Ну, говори же ты, что ты думаешь?

— Что мне думать? Ваша воля. Что мне думать?

Петушков надел сюртук.

«Не верит мне, бестия», — подумал он про себя.

Он вышел из дому, но ни к кому. не зашел. Походил по улицам. Обратил внимание на заходящее солнце. Наконец часу в девятом воротился домой. Он улыбался; он беспрестанно пожимал плечами, как бы- дивясь своей глупости. «Ведь вот, — думал он, — что значит твердая воля…»

На другой день Петушков встал довольно поздно. Ночь он провел не совсем хорошо, до самого вечера не выходил никуда и скучал страшно. Перечел Петушков все свои книжонки, вслух похвалил одну повесть в «Библиотеке для чтения». Ложась спать, велел Онисиму

подать себе трубку. Онисим вручил ему предрянной чубучок. Петушков начал курить; чубучок захрипел, как запаленная лошадь.

— Что за гадость! — воскликнул Иван Афанасьич, — где же моя черешневая трубка?

— А в булочной, — спокойно возразил Онисим. Петушков судорожно моргнул глазами.

— Что ж, прикажете сходить?

— Нет, не нужно-; ты не ходи… не нужно; не ходи, слышишь?

— Слушаю-с.

Ночь прошла кое-как. Утром Онисим, по обыкновению, подал Петушкову на тарелке с синими цветочками белую свежую булку. Иван Афанасьич посмотрел в окно и спросил Онисима:

— Ты ходил в булочную?

— Кому ж ходить, коли не мне?

— А!

Петушков углубился в размышление.

— Скажи, пожалуйста, ты там видел кого-нибудь?

— Известно, видел.

— Кого же ты там видел, например?

— Да известно кого: Василису.

Иван Афанасьич умолк. Онисим убрал со стола и уже вышел было из комнаты…

— Онисим, — слабо воскликнул Петушков.

— Чего изволите?

— А… обо мне она не спрашивала?

— Известно, не спрашивала.

Петушков стиснул зубы. «Вот, — подумал он, — вот она, любовь-то… — Он опустил голову. — А ведь смешон же я был, — подумал он опять, — вздумал ей стихотворенья читать! Эка! Да ведь она дура! Да ведь ей, дуре, только бы на печи лежать да блины есть! Да ведь она деревяшка, совершенная деревяшка, необразованная мещанка!»

— Не пришла… — шептал он два часа спустя, сидя на том же месте, — не пришла! Каково? ведь она могла видеть, что я ушел от нее рассерженный, ведь она могла же знать, что я обиделся! Вот тебе и любовь! И не спросила даже, здоров ли я? Здоров ли, дескать, Иван Афанасьич? Вторые сутки меня не видит-и ничего!.. Даже, может быть, опять изволила видеться с этим Буб… Счастливчик! Тьфу, черт возьми, какой я дурак!

Петушков встал, молча прошелся по комнате, остановился, слегка наморщил брови и почесал у себя в затылке.

— Однако, — сказал он вслух, — пойду-ка я к ней. Надобно же посмотреть, что она там-таки делает? Пристыдить ее надобно. Решительно пойду. Онька! одеваться!

«Ну, — думал он, одеваясь, — посмотрим, что-то будет? Она, пожалуй, чего доброго, на меня сердится. И в самом деле, человек ходил-ходил, ходил-ходил да вдруг, ни с того ни с сего, взял да перестал ходить! А вот посмотрим».

Иван Афанасьич вышел из дому и добрался до булочной. Он остановился у калитки: надобно ж оправиться и обтянуться… Петушков взялся обеими руками за фалды да чуть не оторвал их прочь совсем… Судорожно покрутил он затянутой шеей, расстегнул верхний крючок воротника, вздохнул…

— Что ж вы стоите, — закричала ему Прасковья Ивановна из окошка. Войдите.

Петушков вздрогнул и вошел. Прасковья Ивановна встретила его на пороге.

— Что это вы, батюшка, к нам вчера не пожаловали? Аль нездоровьице какое помешало?

— Да, у меня что-то вчера голова болела…

— А вы бы к височкам по огурчику приложили, мой батюшка. Как рукой бы сняло. А теперь не болит головка?

— Нет, не болит.

— Ну, и слава тебе, господи!

Иван Афанасьич отправился в заднюю комнату. Василиса увидала его.

— А! здравствуйте, Иван Афанасьич.

— Здравствуйте, Василиса Тимофеевна.

— Куда вы ливер девали, Иван Афанасьич?

— Ливер? какой ливер?

— Ливер… наш ливер. Вы его, должно быть, к себе занесли. Вы ведь такой… прости, господи!..

Петушков принял важный и холодный вид.

— Я прикажу своему человеку посмотреть. Так как я вчера здесь не был, значительно проговорил он…

— Ах, да ведь точно, вас вчера здесь не было. — Василиса присела на корточки и начала рыться в сундуке… — Тетка! А, тетка!

— Че-а-во?

— Ты, что ль, взяла мою косынку?.

— Какую косынку?

— А желтую.

— Желтую?

— Да, желтую, с разводами.

— Нет, не брала.

Петушков нагнулся к Василисе.

— Послушай, Василиса, меня; послушай-ка, что я тебе скажу. Теперь дело идет не о ливерах да о косынках; этим вздором можно и в другое время заняться.

Василиса не тронулась с места и только подняла голову.

— Ты скажи мне, по чистой совести, любишь ли ты меня или нет? Вот что я желаю знать наконец!

— Ах, какой же вы, Иван Афанасьич… Ну, да, разумеется.

— А коли любишь, как же это ты ко мне вчера не зашла? Некогда было? Ну, прислала бы узнать, что, дескать, не болен ли я, что меня нету? А тебе и горюшка мало. Я хоть там, пожалуй, умирай себе, ты и не пожалеешь.

— Эх, Иван Афанасьич, не все ж про одно думать; работать надобно.

— Оно, конечно, — возразил Петушков, — а все-таки… И над старшими смеяться не следует… Нехорошо. Притом не мешает в известных случаях… А где же моя трубка?

— Вот ваша трубка.

Петушков начал курить.

VII

Несколько дней протекло снова, по-видимому, довольно мирно. Но гроза приближалась. Петушков мучился, ревновал, не спускал глаз с Василисы, тревожно наблюдал за ней, надоедал ей страшно. Вот, однажды вечером, Василиса оделась тщательнее обыкновенного и, улучив удобное мгновенье, отправилась куда-то в гости. Наступила ночь: она не возвращалась. Петушков на заре пришел к себе на квартиру и в восьмом часу утра побежал в булочную… Василиса не приходила. С невыразимым замираньем сердца ожидал он ее до самого обеда… за стол сели без нее…

— Куда это она запропастилась? — равнодушно проговорила Прасковья Ивановна.

— Вы ее балуете, вы ее просто совершенно избалуете! — с отчаянием повторял Петушков.

— И! батюшка! за девкой не усмотришь! — отвечала Прасковья Ивановна. — Бог с ней! Лишь бы свое дело делала… Отчего же человеку и не погулять…

Мороз подирал по коже Ивана Афанасьича. Наконец, к вечеру, явилась Василиса. Он только этого и ожидал. Торжественно поднялся Петушков с своего места, сложил руки, грозно нахмурил брови… Но Василиса смело взглянула ему в глаза, нагло засмеялась и, не давши ему выговорить слова, проворно вошла в свою комнату и заперлась. Иван Афанасьич раскрыл рот, с изумлением посмотрел на Прасковью Ивановну… Прасковья Ивановна опустила глаза. Иван Афанасьич постоял немного, ощупью сыскал фуражку, надел ее криво на голову и вышел, не закрывши рта.

Он пришел домой, взял кожаную подушку и вместе с нею бросился на диван, лицом к стене. Онисим выглянул из передней, вошел в комнату, прислонился к двери, понюхал табаку, скрестил ноги.

— Аль нездоровы, Иван Афанасьич? — спросил он Петушкова.

Петушков не отвечал.

— За дохтуром сходить прикажете? — продолжал, погодя немного, Онисим.

— Я здоров… Ступай, — глухо проговорил Иван Афанасьич.

— Здоровы?.. нет, вы нездоровы, Иван Афанасьич… Какое это

здоровье?

Петушков помолчал.

— Вы посмотрите лучше на себя. Ведь вы так исхудали, что просто на себя не стали похожи. А все из-за чего? Как подумаешь, так, ей-богу, ум за разум заходит. А еще благородные!

Онисим помолчал… Петушков не шевелился.

— Разве так благородные поступают? Ну, пошалили бы… почему ж бы и не так… пошалили бы, да и за щеку. А то что? Вот уж точно можно сказать: полюбится сатана пуще ясного сокола.

Ивана Афанасьича только покоробило.

— Ну, право же так, Иван Афанасьич. Другой бы мне сказал про вас: вот что, вот что, вот какие дела… Я бы ему сказал: дурак ты, поди прочь, за кого ты меня принимаешь? Чтобы я этому поверил? Я и теперь сам вижу, да не верю. Ведь уж хуже этого быть ничего не может. Зелья, что ли, она какого дала вам? Ведь что в ней? Коли так рассудить, совершенные пустяки, просто плюнуть стоит. И говорить-то она порядочно не умеет… Ну, просто девка как девка1 Еще хуже!

— Ступай, — простонал Иван Афанасьич в подушку.

— Нет, я не пойду, Иван Афанасьич. Кому ж говорить, коли не мне? Что в самом деле? Вот вы теперь сокрушаетесь… а из чего? Ну, из чего, помилуйте, скажите.

— Да ступай же, Онисим, — опять простонал Петушков. Онисим, для приличия, помолчал немного.

— И ведь то сказать, — начал он опять, — она благодарности никакой не чувствует. Другая бы не знала, как вам угодить; а она!.. она и не думает о вас, Ведь это просто срам. Ведь что о вас говорят, и пересказать нельзя. Меня даже стыдят. Ну, кабы я это прежде мог знать, уж я ж бы ее…

— Да ступай же наконец, черт! — закричал Петушков, не трогаясь, впрочем, с места и не поднимая головы.

— Иван Афанасьич, помилуйте, — продолжал неумолимый Онисим. — Я для вашего же добра. Плюньте, Иван Афанасьич, просто плюньте, послушайтесь меня. А не то я бабку приведу: отговорит как раз. Сами потом смеяться будете; скажете мне: Онисим, а ведь удивительно, как это бывает иногда! Ну, сами посудите: ведь таких, как она, у нас, как собак… только свистни…

Как бешеный вскочил Петушков с дивана… но, к изумлению Онисима, уже поднявшего обе руки в уровень своих ланит, сел опять, словно кто ноги ему подкосил… По бледному его лицу катились слезы, косичка волос торчала на темени, глаза глядели мутно…

искривленные губы дрожали… голова упала на грудь.

Онисим посмотрел на Петушкова и тяжко бросился на колени.

— Батюшка, Иван Афанасьич, — воскликнул он, — ваше благородие! Извольте наказать меня, дурака. Я вас обеспокоил, Иван Афанасьич… Да как я смел! Извольте наказать меня, ваше благородие… Стоит вам плакать от моих глупых речей… батюшка, Иван Афанасьич…

Но Петушков даже не поглядел на своего слугу, отвернулся и забился опять в угол дивана.

Онисим поднялся, подошел к барину, постоял над ним, раза два хватил себя за волосы.

— Не хотите ли, батюшка, раздеться… в постель бы легли… малины бы покушали… не извольте печалиться… Это только с полугоря, это все ничего… все пойдет на лад, — говорил он ему через каждые две минуты…

Но Петушков не поднимался с дивана и только изредка пожимал плечами, подводил колени к животу…

Онисим всю ночь не отходил от него. К утру Петушков заснул, но спал недолго. Часов в семь встал он с дивана, бледный, взъерошенный, усталый, потребовал чаю.

Онисим подобострастно и проворно поставил самовар.

— Иван Афанасьич, — заговорил он наконец робким голосом, — вы на меня не изволите гневаться?

— За что ж я буду гневаться на тебя, Онисим? — отвечал бедный Петушков. — Ты вчера был совершенно прав, и я совершенно с тобой во всем согласен.

— Я только из усердия, Иван Афанасьич…

— Я знаю, что из усердия. Петушков замолчал и опустил голову. Онисим видел, что дело неладно.

— Иван Афанасьич, — заговорил он вдруг.

— Что?

— Хотите, я Василису позову сюда?

Петушков покраснел.

— Нет, Онисим, не хочу. («Да! как бы не так! придет она!» — подумал он про себя.) Надобно показать твердость. Это все вздор. Вчера я того… Это срам. Ты прав. Надобно все это прекратить, как говорится, разом. Не правда ли?

— Сущую правду изволите говорить, Иван Афанасьич.

Петушков опять погрузился в думу. Он сам себе дивился, словно не узнавал себя. Он сидел неподвижно и глядел на пол. Мысли в нем

волновались, словно дым или туман, а в груди было пусто и тяжело в одно время.

«Да что ж это такое наконец?» — думал он иногда и опять затихал. Пустяки, баловство, — говорил он вслух и поводил рукой по лицу, отряхался, и рука его снова падала на колени, глаза опять останавливались на полу.

Онисим внимательно и печально глядел на своего господина.

Петушков поднял голову.

— А скажи-ка мне, Онисим, — заговорил он, — правда ли, точно бывают такие приворотные зелья?

— Бывают-с, как же-с, — возразил Онисим и выставил ногу вперед. — Вот хоть бы изволите знать унтера Крупова-того?.. У него брат от приворота пропал. И приворотили-то его к бабе старой, к поварихе, вот что извольте рассудить! Дали съесть простой кусок ржаного хлеба, с наговорам, разумеется. Вот и врезался круповатовский брат по уши в повариху, так и бегал повсюду за поварихой, души в ней не чаял, наглядеться не мог. Бывало, что она ему ни скомандуй, он тотчас и повинуется. Даже при других, при чужих людях она им щеголяла. Ну и вогнала его наконец в чахотку. Так и умер круповатовский брат. А ведь повариха была, да еще и старая-престарая. (Онисим понюхал табаку.) Чтоб им пусто было, всем этим девкам и бабам!

— Она меня вовсе не любит, это наконец ясно, это наконец никакому сомнению не подвержено, — бормотал вполголоса Петушков, делая притом такие движения головой и руками, как будто объяснял совершенно постороннему человеку совершенно постороннее дело.

— Да, — продолжал Онисим, — бывают такие бабы. Бывают? — уныло повторил Петушков, не то спрашивая, не то недоумевая.

Онисим внимательно посмотрел на своего господина.

— Иван Афанасьич, — начал он, — вы бы перекусили чего?

— Перекусил бы? — повторил Петушков.

— А то, может, трубки не угодно ли?

— Трубки? — повторил Петушков.

— Вот оно куда пошло, — проворчал Онисим, — зацепило, значит.

VIII

Стук сапогов раздался в передней — а там послышался обычный сдержанный кашель, уведомляющий о прибытии подчиненного лица. Онисим вышел и тотчас же вернулся в сопровождении крошечного гарнизонного солдата с старушечьим лицом, в изношенной до желтизны и заплатанной шинели, без брюк и без галстука. Петушков встрепенулся — а солдат вытянулся, пожелал ему «здравья» и вручил ему большой конверт, запечатанный казенной печатью. В этом конверте находилась записка от майора, командовавшего гарнизоном: он требовал к себе Петушкова немедленно и безотлагательно.

Петушков повертел записку в руках и не мог удержаться, чтобы не спросить посланца: «Не известно ли ему, зачем майор его к себе требует?» — хотя очень хорошо понимал всю бесполезность своего вопроса.

— Не могим знать! — усиленно, но чуть слышно, словно спросонья, крикнул солдат.

— А других господ офицеров к себе он не требует? — продолжал Петушков.

— Не могим знать! — вторично, тем же голосом, крикнул солдат.

— Ну, хорошо, ступай, — промолвил Петушков.

Солдат сделал налево кругом, причем топнул ногой и хлопнул себя ладонью пониже спины (в двадцатых годах это было в моде) — и удалился.

Петушков молча переглянулся с Онисимом, который вдруг принял озабоченный вид, — и отправился к майору.

Майор этот был человек лет шестидесяти, тучный и неуклюжий, с отекшим и красным лицом, с короткой шеей, с постоянной дрожью в пальцах, происходившей от излишнего употребления водки. Он принадлежал к числу так называемых «бурбонов», то есть выслужившихся солдат, на тридцатом году выучился грамоте и говорил с трудом, частью вследствие одышки, частью от неспособности уразуметь собственную мысль. Темперамент его являл все известные в науке видоизменения: утром, до водки, он был меланхоликом, в середине дня холериком, а к вечеру — флегматиком, то есть он тогда только сопел и мычал, пока его не клали в постель.

Иван Афанасьич явился к нему во время холерического периода. Он застал его сидящим на диване, в шлафроке нараспашку и с трубкою в зубах. Толстый корноухий кот поместился с ним рядом.

— Ага! пожаловал! — проворчал майор, искоса вскинув на Петушкова свои оловянные глазки и не трогаясь с места. — Ну-ка, садитесь; ну-ка, я вас хорошенько. Я уж давно до вашего брата добирался… да.

Петушков опустился на стул.

— Потому, — заговорил майор с неожиданным порывом всего тела, — ведь вы офицер; так уже и вести себя надо, как приказано. Коли бы вы были солдат-я бы просто выпорол вас, да и шабаш; а то вы офицер. На что это похоже? Стра-миться-разве это хорошо?

— Позвольте узнать, к чему ведут сии намеки, — начал было Петушков…

— А у меня не рассуждать. Я это смерть не люблю. Сказано: не люблю; ну, и все тут! Вон у вас и крючки не по форме; что за страм! Сидит день-деньской в булочной; а еще благородный! Юбка там завелась-вот он и сидит. Ну, пусть бы ее, юбку, к черту! а то, говорят, сам хлебы в печь сажает. Мундир марает… да.

— Позвольте доложить, — промолвил Петушков, у которого на сердце захолонуло, — что это все, сколько я могу сообразить, относится к частной, так сказать, жизни…

— Не рассуждать у меня, говорят! Частная жизнь-еще толкует! Коли бы по службе что вышло, я бы вас прямо на губвахту! Але марщир! Потому-присяга. На меня самого, может, целую березовую рощу извели: так уж я службу-то знаю; все эти порядки мне очинно известны. А то надо понять: это я, собственно, насчет мундира. Мараешь мундир- да. Это я, как отец… да. Потому, мне это все поручено. Я отвечать должен. А вы еще тут рассуждаете! — крикнул со внезапной неистовостью майор, и лицо его побагровело, и пека показалась на губах, а кот поднял хвост и соскочил на пол. — Да знаете ли вы… Да знаете ли, что я могу… все могу? все, все! Да понимаете ли вы, с кем вы говорите? Начальство приказывает — а вы рассуждать! Начальство… начальство!..

Тут майор даже закашлялся и захрипел, а бедный Петушков только выпрямливался и бледнел, сидя на краешке стула.

— Чтоб у меня… — продолжал майор, повелительно взмахивая дрожащей рукою, — чтобы все… по струнке у меня! Поведенц первый сорт! Беспорядков не потерплю! Знаться можешь с кем угодно — я на это наплевать! Но коли ты благородный — ну, так уж и того…

действуй! Хлеба в печку у меня не сажать! Бабу мокроподолую теткой не называть! Мундир не марать! Молчать! Не рассуждать!

Голос майора прервался. Он перевел дух и, обернувшись к двери передней, закричал: «Фролка, подлец! Селедки!»

Петушков проворно поднялся и выскочил вон, чуть не сбивши с ног бежавшего ему навстречу казачка с резаной селедкой и крупным графином водки на железном подносе.

«Молчать! не рассуждать!» — раздавались вслед Петушкову отрывистые восклицания раздраженного начальника.

IX

Странное чувство овладело Иваном Афанасьичем, когда он вдруг очутился на улице.

«Да что это я словно во сне хожу? — думал он про себя, — с ума я сошел, что ли? Ведь это наконец невероятно. Ну, черт возьми, разлюбила меня, ну и я ее разлюбил, ну и… Что ж тут необыкновенного?»

Петушков нахмурил брови.

— Надобно это кончить наконец, — сказал он почти вслух, — пойду и объяснюсь решительно, в последний раз, чтоб уж и помину потом не было.

Петушков скорыми шагами отправился в булочную. Племянник работника Луки, маленький мальчишка, друг и наперсник проживавшего на дворе козла, проворно вскочил в калитку, лишь только завидел издали Ивана Афанасьича. Прасковья Ивановна вышла навстречу Петушкову.

— Племянницы вашей нету дома? — спросил Петушков.

— Никак нет-с.

Петушков внутренне обрадовался отсутствию Василисы.

— Я пришел с вами объясниться, Прасковья Ивановна.

— О чем это, батюшка?

— А вот о чем. Вы понимаете, что после всего… произошедшего… после подобного, так сказать, поступка (Петушков немного смешался) … словом сказать… Но, однако, вы на меня, пожалуйста, не сердитесь.

— Так-с.

— Напротив, войдите в мое положение, Прасковья Ивановна.

— Так-с.

— Вы женщина рассудительная, вы сами поймете, что… что мне уже больше нельзя к вам ходить.

— Так-с, — протяжно повторила Прасковья Ивановна.

— Поверьте, я очень сожалею; признаюсь, мне даже больно, истинно больно…

— Вам лучше знать-с, — спокойно возразила Прасковья Ивановна. — В вашей воле-с. А вот, позвольте, я счетец вам подам-с.

Петушков никак не ожидал такого скорого согласия. Он вообще и

не желал «согласия»; он хотел было только напугать Прасковью Ивановну и в особенности Василису. Ему становилось жутко.

— Я знаю, — заговорил он, — Василисе это нисколько не будет неприятно; напротив, я думаю, она будет рада.

Прасковья Ивановна достала счеты и начала стучать костяшками.

— С другой стороны, — продолжал все более и более взволнованный Петушков, — если б, например, Василиса объяснила мне свое поведение… может быть… я… хотя, конечно… я не знаю, может быть, я бы увидал, что тут, собственно, нет никакой вины.

— За вами, батюшка, тридцать семь рублей сорок копеек ассигнациею, — заговорила Прасковья Ивановна. — Вот, не угодно ли поверить?

Иван Афанасьич не отвечал ни слова.

— Восемнадцать обедов, по семи гривен за каждый: двенадцать рублей шесть гривен.

— Итак, мы расстаемся с вами, Прасковья Ивановна?

— Что ж, батюшка, делать? Такие ли бывают случаи? Двенадцать самоваров, по гривенничку…

— Но скажите хоть вы мне, Прасковья Ивановна, куда это ходила Василиса, и зачем это она…

— А я, батюшка, ее не расспрашивала… Рубль двадцать копеек серебряною монетой. Иван Афанасьич задумался.

— Квасу и кислых щей, — продолжала Прасковья Ивановна, отделяя костяшки на счетах не указательным, а третьим пальцем, — на полтину серебром. К чаю сахару и булок на полтину серебром. Четыре картуза табаку куплено по вашему приказанию: восемь гривен серебром. Портному Куприяну Аполлонову…

Иван Афанасьич вдруг поднял голову, протянул руку и смешал кости.

— Что ж это вы, батюшка, делаете! — заговорила Прасковья Ивановна. — Али мне не верите?

— Прасковья Ивановна, — возразил Петушков, торопливо улыбаясь, — я раздумал. Я так, знаете, пошутил. Останемся-ка лучше приятелями, по-старому! Что за пустяки! Как можно нам с вами расстаться, скажите пожалуйста?

Прасковья Ивановна опустила голову и не отвечала ему.

— Ну, повздорили — и кончено, — продолжал Иван Афанасьич, похаживая по комнате, потирая руки и как бы снова вступая в прежние права. — Аминь! а вот я лучше трубочку закурю.

Прасковья Ивановна все не трогалась с места…

— Я вижу, вы на меня сердитесь, — сказал Петушков. — Я, может быть, вас обидел. Ну, что ж? простите великодушно.

— Какое, батюшка, обидел! Какая тут обида?.. Только уж вы, батюшка, пожалуйста, — прибавила Прасковья Ивановна, кланяясь, — не извольте больше к нам ходить.

— Как?!

— Не след нам, батюшка, с вами знаться, ваше благородие. Уж, пожалуйста, сделайте милость…

Прасковья Ивановна продолжала кланяться.

— Отчего же? — пробормотал изумленный Петушков.

— Да уж так, батюшка. Окажите божескую милость.

— Да нет, Прасковья Ивановна, надобно объясниться…

— Василиса, батюшка, вас просит. Говорит: «Благодарна, очинно благодарна и чувствую»; только уж вперед, ваше благородие, увольте.

Прасковья Ивановна чуть не в ноги поклонилась Петушкову.

— Василиса, вы говорите, меня просит не ходить?

— Именно так, батюшка, ваше благородие. Как вы сегодня изволили пожаловать, да как заговорили, что, дескать, не желаете больше посещать, то есть нас, я так, батюшка, и обрадовалась, думаю: вот и слава богу, вот как оно ладно пришлось. А то у меня у самой язык бы не повернулся… Окажите милость, батюшка.

Петушков покраснел и побледнел почти в одно мгновенье. Прасковья Ивановна все продолжала кланяться…

— Очень хорошо, — резко воскликнул Иван Афанасьич. — Прощайте.

Он круто повернулся и надел фуражку.

— А счетец-то, батюшка…

— Пришлите ко мне… Мой человек вам заплатит.

Петушков вышел твердой поступью из булочной и даже не оглянулся.

X

Прошли две недели. Сначала Петушков храбрился чрезвычайно, выходил, посещал своих товарищей, исключая, разумеется, Бублицына, но, несмотря на преувеличенные похвалы Онисима, чуть не сошел наконец с ума от тоски, ревности и скуки. Одни разговоры с Онисимом о Василисе доставляли ему некоторую отраду. Начинал разговор, «задирал» всегда Петушков; Онисим неохотно отвечал ему.

— А ведь странное дело, — говорил, например, Иван Афанаеьич, лежа на диване, меж тем как Онисим, по обыкновению, стоял, прислонившись к двери, скрестив руки за спину, — как подумаешь: ну что я нашел в этой девушке? Кажется, ничего необыкновенного в ней нет. Правда, она добра. Этого нельзя у ней отнять.:

— Какое добра! — с неудовольствием отвечал Онисим.

— Ну, нет, Онисим, — продолжал Петушков, — надо правду говорить. Теперь оно дело прошлое; мне теперь все равно, но что справедливо, то справедливо. Ты ее не знаешь. Она предобрейшая. Ни одного нищего не пропустит так: хоть корку хлеба, а даст. Ну, и нрава она веселого-это тоже надобно сказать.

— Вот еще что выдумали! Где нашли веселый нрав!

— Я тебе говорю… ты ее не знаешь. И бессребреница тоже она… это тоже. Не интересанка, нечего сказать. Ну, хоть бы я ей — ничего ведь не давал, ты сам знаешь.

— Оттого-то она вас и бросила.

— Нет, не оттого! — со вздохом отвечал Петушков.

— Да вы в нее до сих пор влюбимши, — ядовито возражал Онисим. — Вы бы рады опять за прежнее.

— Вот уж это ты пустяки сказал. Нет, брат, ты меня тоже, видно, не знаешь. Меня же прогнали, да я же пойду кланяться. Нет, извини. Нет, я тебе говорю, поверь мне, это все теперь дело прошлое.

— Дай бог! дай бог!

— Но почему ж мне теперь и не отдать ей справедливости наконец? Ну, что ж, я скажу, что она собой нехороша, — ну кто ж мне поверит?

— Вот нашли красавицу?

— Ну, найди мне, — ну, назови кого-нибудь лучше ее…

— Ну, так пойдите к ней опять!..

— Эка! Да я разве для того это говорю, что ли? Ты меня пойми…

— Ох! понимаю я вас, — с тяжелым вздохом отвечал Онисим.

Прошла еще неделя. Петушков перестал даже разговаривать с своим Онисимом, перестал выходить. С утра до вечера лежал он на диване, закинув руки за голову. Стал он худеть и бледнеть, ел неохотно и торопливо, трубки вовсе не курил. Онисим только головой покачивал, глядя на него.

— А ведь вам нехорошо, Иван Афанасьич, — говорил он ему не раз.

— Нет, ничего, — возражал Петушков.

Наконец, в один прекрасный день (Онисима не было дома), Петушков встал, пошарил у себя в комоде, надел шинель, хотя солнце пекло порядком, украдкой вышел на улицу и через четверть часа опять вернулся… Он что-то нес под шинелью…

Онисима не было дома. Целое утро он все сидел у себя в каморке, рассуждал сам с собой, ворчал и ругался сквозь зубы и, наконец, отправился к Василисе.

Он застал ее в булочной. Прасковья Ивановна спала на печи, мерно и томно похрапывая.

— Ах, здравствуйте, Онисим Сергеич, — с улыбкой проговорила Василиса, — что давно не видать?

— Здорово.

— Что вы такие невеселые? Чайку не хотите ли?

— Не обо мне теперь речь, — с досадой возразил Онисим.

— А что?

— Что! Не понимаешь меня, что ли? Что! Что ты наделала с моим барином, вот что мне скажи.

— Что такое я наделала?

— Что такое ты наделала… Поди-ка посмотри на него. Ведь он того и гляди что занеможет аль и совсем умрет.

— Чем же я виновата, Онисим Сергеич?

— Чем! Бог тебя знает. Вишь, он в тебе души не чает. А ты с ним, как с своим братом, прости господи, обошлась. Не ходи, дескать: надоел. Ведь он хоть и неважный, а все же господин. Ведь он благородный… Понимаешь ты это?

— Да он такой скучный, Онисим Сергеич…;

— Скучный! А тебе все веселых нужно.

— Да и не то что скучный: такой сердитый, ревнивый такой.

. — Ах ты, астраханская царевна Миликитриса! Вишь, он

обеспокоил тебя!

— Да вы сами, Онисим Сергеич, помнится, на него сердились, зачем, дескать, знается, зачем все ходит?

— А что ж, хвалить его надо было за это, что ли?

— Ну, так за что же вы теперь на меня осерчали? Вот и ходить перестал.

Онисим даже ногою топнул.

— Да, что ж мне с ним делать, коли он такой сумасшедший, — прибавил он, понизив голос.

— Так чем же я виновата? Чем же я помочь-то могу?

— А вот чем: пойдем-ка со мной к нему.

— Сохрани господи!

— Отчего ж ты не пойдешь?

— Да зачем же я пойду к нему? помилуйте.

— Зачем? А затем, что вот он говорит, что ты добрая; посмотрю я, какая ты добрая.

— Да какое же добро я могу ему сделать?

— Ну, уж про это я знаю. Стало быть, плохо, коли я к тебе пришел. Видно, уж другого средства не придумал. Онисим помолчал немного.

— Ну, пойдем, Василиса, пожалуйста, пойдем.

— Да, Онисим Сергеич, я не желаю с ним опять знаться…

— Да и не нужно — кто тебе говорит? Так, слова два скажи: дескать, что изволите печалиться… полноте… Вот и все.

— Право, Онисим Сергеич…

— Да что ж, мне кланяться тебе, что ли? Ну, изволь — вот тебе и поклон… на тебе поклон.:

— Да право же…

— Ведь экая! И честь-то ее не берет!.. Василиса наконец согласилась, накинула платок на голову и ушла вместе с Онисимом.

— Постой-ка немного здесь, в передней, — сказал он ей, когда они пришли на квартиру Петушкова. — А я пойду барину доложу…

Он вошел к Ивану Афанасьичу.

Петушков стоял посреди комнаты, заложив обе руки в карманы, преувеличенно растопырив ноги и слегка покачиваясь взад и вперед. Лицо его пылало, глаза сияли.

— Здравствуй, Онисим, — дружелюбно залепетал, он, очень плохо и вяло выговаривая согласные буквы, — здравствуй, братец. А я, брат, без тебя… хе-хе-хе… — Петушков засмеялся и клюнул носом вперед. — Вот уж подлинно, хе-хе-хе… Впрочем, — прибавил он, стараясь принять важный вид, — я ничего. Он поднял было ногу, но

чуть не упал и для контенансу проговорил басом:-Человек, дай трубку!

Онисим с изумлением посмотрел на своего барина, взглянул кругом… На окне стояла пустая темно-зеленая бутылка с надписью: «Ром Ямайский самый лучший».

— Хватил, брат, да и только, — продолжал Петушков. — Взял да хватил. Хватил, да и все тут. А ты где был? расскажи… не стыдись… расскажи. Ты хорошо рассказываешь.

— Иван Афанасьич, — помилуйте, — завопил Онисим.

— Изволь. И это изволь. Милую, милую и прощаю, — возразил Петушков, неопределенно помахивая рукой. — Всем прощаю, и тебе прощаю, и Василисе прощаю, и всем, всем прощаю. А я, брат, хватил… Хва-атил, брат… — Кто это? — внезапно вскрикнул он, указывая на дверь передней, — кто там?

— Никого там нет, — торопливо ответил Онисим. — Кому там быть… куда вы?

— Нет, нет, — повторял Петушков, порываясь из рук Онисима, — пусти, я видел, ты не говори, я там видел, пусти… Василиса! — закричал он вдруг.

Петушков побледнел.

— Ну… ну, что ж ты не входишь? — заговорил он наконец. — Войди, Василиса, войди. Я очень тебе рад, Василиса.

Василиса взглянула на Онисима-и вошла в — комнату. Петушков приблизился к ней… Он дышал глубоко и редко. Онисим наблюдал за ним. Василиса боязливо косилась на обоих.

— Садись, Василиса, — заговорил опять. Иван Афанасьич, — спасибо тебе, что пришла. Извини, что я… как бы это сказать?.. этак в неприличном виде. Я не мог предвидеть, никак не мог, согласись сама. Ну, садись же, вот хоть здесь, на диване… Так, кажется, я выражаюсь?

Василиса села.

— Ну, здравствуй, — продолжал Петушков. — Ну, как поживаешь? что делала хорошего?

— Я слава богу, Иван Афанасьич. Как вы?

— Я? Как видишь! Убит. И кем убит? Тобой убит, Василиса. Но я на тебя не сержусь. Только я убит. Вот, спроси хоть у этого. (Он указал на Онисима.) Ты не гляди, что я пьян. Я точно пьян; только я убит. Оттого и пьян, что убит.

— Помилуй бог, Иван Афанасьич!

— Убит, Василиса, уж я тебе говорю. Ты мне верь. Я тебя никогда не обманывал. Ну, что твоя тетка, здорова?

— Здорова, Иван Афанасьич. Много благодарны. Петушков

начинал сильно покачиваться.

— Да вы-то нездоровы сегодня, Иван Афанасьич. Вы бы легли.

— Нет, я здоров, Василиса. Нет, ты не говори, что я нездоров, а ты лучше скажи, что в разврат я вдался, нравственность потерял. Вот это будет справедливо. Против этого я спорить не буду.

Ивана Афанасьича качнуло назад. Онисим подскочил и поддержал своего барина.

— А кто виноват? Хочешь, я скажу тебе, кто виноват? Я виноват, я первый. Мне бы что следовало сделать? Мне бы следовало тебе сказать: Василиса, я тебя люблю. Ну, хорошо. Ну, хочешь за меня замуж? Хочешь? Правда, ты мещанка, положим; ну, да это ничего. Это бывает. Вот и у меня там был знакомый: тоже этак женился. Чухонку взял. Взял да я женился. А со мной тебе было бы хорошо. Я человек добрый, ей-богу! Ты не гляди на то, что я пьян, а взгляни лучше. на мое сердце. Вот, спроси хоть у этого… человека. Стало быть, виноват-то выхожу я. А теперь я, разумеется, убит.

Иван Афанасьич более и более нуждался в подпоре Онисима.

— А все-таки тебе грех, большой грех. Я тебя любил, я тебя уважал, я… да уж что! Я и теперь готов хоть сейчас под венец. Хочешь? Ты только скажи, а уж там мы сейчас. А только ты меня обидела кровно… кровно. Хоть бы сама отказала, а то через тетку, через толстую эту бабищу. Ведь только у меня и было радости что ты. Ведь я бездомный человек, ведь я сирота! Кому теперь приласкать меня? кто мне доброе слово молвит? Ведь я кругом сирота. Гол как сокол. Спроси хоть у эт… — Иван Афанасьич заплакал. — Василиса, послушай-ка, что я тебе скажу, — продолжал он, — позволь мне этак по-прежнему ходить к тебе. Не бойся… я буду, того, смирнехонько. Ты ходи, к кому там знаешь, я — ничего: этак без возражений, знаешь. Ну, соглашаешься? Хочешь, я на коленки стану? (И Иван Афанасьич согнул было колени, но Онисим подхватил его под мышки.) Пусти меня! Не твое дело! Тут идет речь о счастье целой, понимаешь, жизни, а ты мешаешь…

Василиса не знала, что сказать…

— Не хочешь… Ну, как хочешь! Бог с тобой. В таком случае прощай! Прощай, Василиса. Желаю тебе всякого счастия и благополучия… а я… а я…

И Петушков зарыдал в три ручья. Онисим из всех сил поддерживал его сзади… сперва перекосил лицо, потом сам заплакал… И Василиса тоже заплакала…

XI

Лет через десять можно было встретить на улицах городка О… человека худенького, с красненьким носиком, одетого в старый зеленый сюртучок с плисовым засаленным воротником. Он занимал небольшой чуланчик в известной нам булочной. Прасковьи Ивановны уже не было на свете. Хозяйством заведовала ее племянница Василиса вместе с мужем своим, рыжеватым и подслеповатым мещанином Демофонтом. За человеком в зеленом сюртучке водилась одна слабость: любил выпить, впрочем вел себя смирно. Читатели, вероятно, узнали в нем Ивана Афанасьича.

1847